

Пигмент распада

ВИКТОР БЕЗМАТЕРНИЙ

Она рисовала свет.
Он использовал её как кисть

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Виктор Безматерный

Пигмент распада

«Автор»

2026

Безматерный В.

Пигмент распада / В. Безматерный — «Автор», 2026

Париж пахнет свинцом и разложением. Для художницы Клеманс Готье ее мансарда на Монмартре — это одновременно мастерская и склеп. Чтобы заглушить голод и забыть о долгах, она использует в картинах редкий пигмент из древних костей, не подозревая, что вместе с краской впускает в себя Тибо де Флэри — алхимика времен Революции, чья душа заключена в черном рубине. Граф превращает тело художницы в идеальный резонатор. Ее картины начинают жить: нарисованные фигуры следят за зрителем сквозь холст, а сам Париж снаружи медленно каменеет под воздействием фрактальной геометрии безумия. Но когда гениальный химик Венсан Арно вводит в кровь Клеманс асимметричный яд Лимбургского гноя, правила игры Клеманс предстоит спуститься в отравленные катакомбы столицы, собрать ингредиенты для идеального яда и написать величайший шедевр в истории искусства — картину, способную удержать внутри себя саму геометрическую бесконечность. Ей придется использовать собственное тело как проводник для удара.

© Безматерный В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пигмент	5
Глава 2. Муштабель	11
Глава 3. Метамерия	19
Г	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Виктор Безматерний

Пигмент распада

Глава 1. Пигмент

Париж в октябре пахнет прелой листвой, остывающей навозной жижей из сточных канав и дешевым угольным дымом, который вырывается из пастей чугунных печек-буржук. Я плотнее натягиваю кожаную перчатку на левую руку — ту самую, что вечно мерзнет первой, когда мелкая моторика отказывается подчиняться холоду. В кармане моей поношенной шерстяной юбки лежат ровно четыре франка семьдесят сантимов медью. Этого не хватит даже на приличную кисть колонкового волоса, не говоря уже о свинцовом сурике или настоящем вермильоне от господина Блокса.

Лавка старьевщика Леблана втиснулась между лавкой торговца требухой и мастерской гробовщика на набережной Вольтера. Воздух здесь настолько густой, что его можно резать ножом. Он состоит из пыли веков, запаха сухой гнили, застарелого сигарного пепла и легкого металлического привкуса крови тысяч предметов, умерших раньше своих владельцев. Мсье Леблан — человек с лицом сморщенным, как прошлогодний каштан, и пальцами, желтыми от никотина, — дремлет над прилавком, уронив двойной подбородок на засаленный бархатный фаргук.

— Готье? — он открывает один глаз, мутный и воспаленный. — Опять пришла выпрашивать кредит под свои мазни? Твои «Восходы» никто не покупает, девочка. Слишком много света. Людям нравится покупать смерть, а не жизнь. Посмотри на мадам Дюпон через дорогу: ее акварели с мертвыми птицами разлетаются как горячие круассаны.

Я игнорирую его ворчание. Моя цель лежит в застекленной витрине, прямо под чучелом двухголового котенка, чей стеклянный взгляд устремлен в вечность. Это брошь эпохи Реставрации. Оправа сделана из так называемого «альпаки» — дешевого немецкого серебра, которое почернело от времени до цвета грозовой тучи. Но камень... Камень был огромным. Кабошон размером с сустав большого пальца взрослого мужчины. Глубокий, влажный красный цвет. Рубин. Или очень качественная подделка.

— Сколько? — мой голос звучит хрипло. Во рту пересохло, язык кажется наждачной бумагой.

Леблан лениво переводит взгляд на витрину.

— Эта безвкусица? Пять франков. Серебро там стоит два су, если переплавить. А стекло... кому нужно красное стекло?

Мое сердце совершает кульбит. Пять франков — это все мои деньги. Это плата за захламленный угол в студии на улице Норвен, где крыша течет во время дождя, но есть огромное северное окно. Если я куплю эту брошь, мне придется спать на голых досках, завернувшись в старые холсты. Но рука сама тянется к монетам.

Когда пальцы касаются серебряной оправы, мир вокруг сужается до одной точки. Перчатка внезапно становится тесной, словно кожа руки начала стремительно опухать. Металл не холодный. Он горячий. Не обжигающий, как кипятик, а пульсирующий, живой. По запястью вверх, к локтевому сгибу, пробегает волна странного зуда, похожего на движение сотен муравьев под кожей. Я чувствую вкус меди во рту. Перед глазами на долю секунды вспыхивает картина: вымощенный брусчаткой двор, запах пороха и звук тяжелого падения чего-то мягкого на камни. Образ столь яркий, что я инстинктивно отступаю на шаг, врезаюсь спиной в полку с оловянными солдатиками.

— Братъ будешь или нет? — бурчит Леблан, заметив мою бледность. — У меня спина затекла на тебя смотреть. Стоишь как статуя Командора перед ужином.

Я сглатываю вязкую слюну и выкладываю монеты на прилавок. Звук их падения кажется оглушительным в душном воздухе лавки.

Я с трудом разжимаю пальцы, оставляя украшение на дереве. Леблан сгребает деньги своей клешней, даже не проверяя чеканку, и толкает ко мне сверток из грубой оберточной бумаги.

На улице моросит дождь. Париж плачет серыми слезами, размывая фонари в масляные пятна на мокром асфальте. Я прижимаю сверток к груди под накидкой, чувствуя, как жар камня прожигает бумагу и ткань пальто добирается до ребер. Каждый прохожий кажется мне тенями из того мимолетного видения. Мужчина в котелке сутулится точно так же, как палач на площади Согласия. Женщина несет корзину с хлебом, и корзина качается в такт раскачиванию повешенного. Мне приходится остановиться у парапета и сделать несколько глубоких вдохов, пытаюсь смыть чужие воспоминания ледяным дождем.

Моя мансарда встречает меня запахом льняного масла, скисшего пива (привет от соседа-скульптора снизу) и одиночеством. Студия невелика: три шага в ширину, пять в длину. Единственное богатство — свет. Огромное окно смотрит на крыши, которые сейчас тонут в тумане. На мольберте стоит незаконченный этюд рынка Ле-Аль. Горы моркови должны были сиять оранжевым, но сегодня утром кадмий предал меня, превратившись в грязную охру.

Я бросаю сверток на верстак для подготовки подрамников. Инструменты звенят. Первым делом нужно избавиться от этой гадости. Деньги нужны мне чистыми. Серебряный лом примут в ломбарде на углу, этого хватит, чтобы оплатить аренду еще на неделю и купить хотя бы немного белил.

Снимаю промокшую накидку. Дрожащими руками разворачиваю бумагу. Брошь лежит на моих ладонях. Теперь, при свете газового рожка, она выглядит еще более зловещей. Камень внутри него дышит. Я буквально вижу, как внутри темно-красной толщи медленно перемещаются тени, похожие на клубы дыма в закрытой комнате.

Хватаю тяжелый слесарный напильник со стертой деревянной ручкой. Зубцы инструмента покрыты запекшейся металлической пылью от прошлых работ. Я сажусь на трехногий табурет, зажимаю брошь между коленями, обхватив ногами толстый бархат старой шторы, и принимаюсь за работу. Скрежет металла о металл заполняет студию, заглушая шум дождя за окном.

Первые движения даются легко. Верхний слой окисления слетает серой пудрой. Но чем глубже я проникаю, тем тверже становится сплав. Напильник идет тяжело, с визгом, выбивая искры. И вместе с каждой снятой стружкой ощущение «липкости» усиливается. Оно поднимается выше по рукам. Сначала немеют кончики пальцев, затем ладони теряют чувствительность, превращаясь в деревянные колодки.

Внезапно скрежет прекращается. Напильник просто перестает снимать металл. Я давлую всем весом, упираясь коленом в верстак, но инструмент скользит по поверхности, не оставляя ни единой царапины. Серебряная оправка больше не выглядит старой. Она стала гладкой, зеркальной и абсолютно черной, поглощающей свет газового рожка без остатка. Чернота была такой глубокой, что казалась физическим отверстием в пространстве.

— Что за дьявол... — шепчу я, отбрасывая бесполезный напильник. Тот падает в таз с грязными мастихинами, издавая жалобный звон.

Брошь намертво приклеилась к моим коленям сквозь бархат штанов. Я пытаюсь разжать ноги, но бедра отказываются двигаться. Паника горячей волной ударяет в затылок. Это приступ. Проклятая падучая болезнь матери, которую Люсьен всегда отрицал, списывая на истерию. Сейчас начнется судорога, я прикушу язык, разобью голову о кирпичный выступ дымохода...

Но вместо конвульсий приходит зрение.

Свет газового рожка мигает. Раз, другой. Фитиль трещит, выстреливая снопом синих искр. Комната исчезает. Исчезает сырость Парижа, запах скипидара, боль в затекшей шее.

Я стою босиком на ледяных булыжниках. Под ногами — не моя студия, а широкий двор какого-то дворца. Пале-Рояль? Нет, слишком тесно, слишком мрачно. Воздух пахнет гарью, железом и человеческим страхом — густым, осязаемым запахом, который оседает на языке вкусом ржавчины.

Небо над головой низкое, затянутое черным дымом. Где-то совсем рядом работает гильотина. Я слышу этот звук лучше, чем слышала собственный напильник. Сухой, деревянный хруст разрезаемой древесины, короткий мясистый шлепок и глухой удар головы в плетеную корзину. Толпа вокруг меня ревет, но этот рев приглушен, словно я слушаю его через толстое стекло.

Прямо передо мной возвышается эшафот. Дерево помоста заляпано бурыми пятнами, которые въелись в волокна так глубоко, что никакая парижская грязь не смогла бы оставить такого следа. На ступенях сидит мужчина.

Он одет в камзол из синего бархата, который давно потерял всякий блеск, став тусклым и пыльным. Сорочка на груди расстегнута, открывая бледную, почти прозрачную кожу. Его лицо... оно было бы красивым, если бы не абсолютная неподвижность черт. Высокие скулы, тонкий нос с едва заметной горбинкой и губы, сжатые в одну жесткую линию. Но глаза... Глазницы пусты. Вместо них в черепе мерцают два таких же рубиновых кабошона, как тот, что висит у меня на поясе. Они вращаются в орбитах, фокусируясь на мне с нечеловеческой, математической точностью.

Граф Тибо де Флёри. Имя всплывает в моем сознании само собой, написанное изящным курсивом на пожелтевшем пергаменте завещания.

Он не смотрит на гильотину. Он смотрит на меня. Его пустые глазницы источают холод, который проникает сквозь мою воображаемую кожу до самых костей. Граф поднимает правую руку. У него не хватает двух фаланг на указательном пальце — память о прусской картечи, подсказывает чужой разум в моей голове.

Он протягивает мне этот обрубленный палец.

— Ты держишь мое дыхание, **ma petite**, — говорит он. Голоса нет, но звук разрывает барабанные перепонки изнутри. — Не вздумай расплавлять сосуд. Я еще не закончил пить.

Видение схлопывается с тошнотворным звуком рвущейся ткани.

Я снова сижу на табурете в своей мансарде. Газовый рожок горит ровно, освещая облупившуюся штукатурку стены. Никаких луж крови. Никакого запаха смерти. Только привычная вонь лака и мой собственный ужас.

Я опускаю глаза. Брошь всё ещё зажата между моими коленями. Но теперь она изменилась окончательно. Серебряная оправка исчезла. Совсем. Украшение больше не выглядело дешевой побрякушкой с барахолки. Камень сам стал оправой. Алое вещество растеклось, принимая форму сложного цветка лилии — геральдического символа Бурбонов, — охватив само себя тончайшими лепестками из чистого кристалла. Внутри рубина больше не было теней. Там, подвешенная в вакууме, билось нечто, похожее на крошечное черное сердце. И оно пульсировало в ритме моего собственного ускорившегося пульса.

Руки дрожат так сильно, что зубы стучат. Я пытаюсь сбросить брошь на пол, разжать сведенные мышцы бедер, но тело мне не принадлежит. Граф держит штурвал.

Взгляд случайно падает на палитру. Та банка с краплагом, которую я открыла час назад... Краска внутри нее движется. Сама по себе. Темно-вишневая масса медленно перетекает от одного края банки к другому, формируя идеальный профиль мужского лица. Профиль графа де Флёри.

Краска поднялась над краем стекла, образовав идеальную сферу, зависшую в воздухе. Она вытянулась в длинную, тонкую нить и коснулась моего левого виска. Холод обжег кожу.

Тибо заговорил снова, на этот раз используя мои собственные голосовые связки. Мой рот открылся, челюсть свело спазмом, и из горла вырвался глубокий, грудной смех — смех аристократа, наблюдающего за смертью плебея.

— Рисуи, — приказал граф голосом, выходящим из моего рта. — Рисуи то, что ты видела. Им понравится твой новый пигмент. Очень понравится.

Нить краски втянулась обратно в банку. Спазм в ногах прошел так же внезапно, как и начался. Я рухнула на бок, свалившись с шаткого табурета прямо в лужу воды, натекающей с моей мокрой накидки.

Несколько минут я просто лежала на холодных досках пола, глотая воздух ртом и глядя на балки потолка. Сердце колотилось где-то в горле. Это не эпилепсия. Эпилепсия не оставляет после себя вкуса пороха во рту и знания о том, как именно устроена механика старинной французской гильотины.

Я медленно подтянула колени к груди. Взгляд упал на верстак. Рядом с напильником стояла чистая фарфоровая площадка для смешивания пигментов. Я заставила себя подняться. Ноги подкашивались, мышцы ныли, как после марафона.

Нужно проверить. Нужно доказать себе, что я схожу с ума. Обычное безумие лечится холодной водой и сном. А вот химический ожог или отравление тяжелыми металлами имеют физическую причину.

Я взяла брошь. Теперь она была теплой, почти горячей, словно живая птица, пойманная в кулак. Осторожно, двумя пальцами, боясь, что кристаллические лепестки вопьются в плоть, я поднесла украшение к краю площадки.

Мне не пришлось ничего делать. Камень сам «дышал». С его самой глубокой грани сорвалась микроскопическая частица — алая пылинка, меньше макового зернышка. Она упала в белый фарфор.

Там, где она коснулась поверхности, фарфор пошел сетью трещин, черных, как выжженное дерево.

Я схватила чистую кисть из куньего волоса — последнюю хорошую кисть, которая у меня оставалась. Обмакнула ее в простую воду из кувшина и дотронулась до красной пылинки.

Вода мгновенно испарилась с сухим шипением. Пыль осталась на месте, но изменила структуру. Она превратилась в густую, тягучую каплю цвета венозной крови. Капля медленно поползла по дну площадки против законов гравитации, оставляя за собой идеально ровный, глянцевый след. Цвет был таким глубоким, таким вибрирующим, что любой королевский живописец продал бы душу за возможность положить такой мазок на холст.

Это был не рубин. Вернее, не просто минерал. Это была квинтэссенция. Концентрат.

Я посмотрела на свой незаконченный рынок Ле-Аль. Морковь на нем никогда не станет оранжевой. Кадмий мертв. Но теперь... теперь у меня был цвет, которого не существовало в природе. Цвет человеческой жертвы. Цвет абсолютной власти.

Страх никуда не делся. Он свернулся змеей внизу живота, холодный и скользкий. Но поверх него, перебивая инстинкт самосохранения, начало подниматься другое чувство. Горячая, пьянящая волна творческого голода. Художник во мне — слабый, голодающий, замерзший художник в дырявых ботинках — смотрел на эту каплю на дне площадки и понимал: ради этого оттенка можно продать не только душу, но и саму реальность.

Звякнул дверной колокольчик внизу. Пришел Люсьен. Я услышала его тяжелые шаги по лестнице — он всегда топал, как сержант пехоты, презирая всякую грацию. Брат ненавидел мою живопись, считая ее пустой тратой времени, недостойным занятием для дочери почтен-

ного нотариуса. Он принесет новости из больницы, спросит про деньги, начнет читать лекцию о необходимости найти место гувернантки...

Я быстро накинула кусок мешковины на верстак, скрывая от посторонних глаз дымящуюся плошку и изменившуюся брошь. Затем подошла к мольберту.

Руки перестали дрожать.левой рукой я выдавила остатки дешевой охры. Правой — зачерпнула новую краску пальцем прямо из плошки. Она обожгла кожу холодом жидкого азота.

Я сделала первый мазок по холсту. Прямо поверх нарисованного неба.

Ярко-голубое июльское небо над рынком Ле-Аль мгновенно стало багровым, цвета свежего мяса. Картина содрогнулась. Деревянный подрамник тихо скрипнул, словно полотно пыталось изменить свою геометрию. Изображение пошло рябью. Груда апельсинов в левом углу трансформировалась в аккуратно сложенную пирамиду из человеческих лиц, обращенных к зрителю пустыми глазницами.

Я улыбнулась. Губы сами растянулись в хищной, радостной усмешке графа де Флёри.

Напильник валялся в углу среди мусора. Чистый серебряный лом так и остался несобренным. Какая разница, где спать, когда у тебя в руках ключ от преисподней, упакованный в красивую ювелирную форму? Завтра я куплю новые кисти. Много новых кистей. Десятки метров самого дорогого льняного полотна. Мы будем рисовать с графом долго. Весь Париж будет нашим холстом.

Глава 2. Муштабель

Утро в Париже всегда начинается с запаха мокрого камня и дешевого кофе, сваренного на пережаренных цикории и желудях. Моя студия встретила меня тем же ледяным безразличием, что и вчера, но воздух внутри изменился. Он стал плотным, наэлектризованным, словно перед грозой, хотя за окном висел серый, безнадежный саван ноябрьского смога.

Я не спала. Как можно спать, когда твои веки — это витражи, сквозь которые постоянно просачиваются чужие воспоминания? Стоило мне закрыть глаза, как я снова видела тот двор: чувствовала запах конского навоза, смешанного с железом гильотины, и слышала этот ужасающий влажный стук дерева о дерево. Граф де Флэри не ушел вместе с рассветом. Он остался здесь, растворился в сырости штукатурки, впитался в поры моего загрунтованного холста.

Ночью я пыталась писать. Я вытащила из кладовки огромный подрамник, который берегла для важного заказа — «Благовещение» для часовни одного купца с улицы Сен-Дени, благочестивого человека, любящего золото больше Бога. Но вместо кроткого лика Мадонны моя рука вывела анатомический срез шеи. Сосуды, мышцы, трахея... И всё это сияло тем самым невозможным краплагом, пульсирующим внутренним светом. К утру краска высохла до состояния стекла. Когда я случайно задела край холста ногтем, раздался звук, с которым ломается тонкая карамель.

Сейчас был полдень. Свет падал из северного окна ровным, бестеневым потоком — идеальное освещение для работы над этюдом рынка Ле-Аль. Тот самый злосчастный этюд, где морковь превратилась в конечности. Заказчик отказался от него, назвав «декадентской мерзостью», но теперь эта «мерзость» казалась мне лишь бледной разминкой. У меня было настоящее оружие. Настоящая кровь земли.

Я стою у мольберта. На мне старый халат моей матери, заляпанный пятнами медиума и кобальтом. Босые ноги чувствуют холод рассохшихся досок пола. В левой руке зажат муштабель — длинная деревянная палочка с кожаным наконечником. Профессиональная привычка, выработанная годами нужды: чтобы писать детали на большом холсте и не дышать на свежую краску, нужно на что-то опираться. Муштабель упирается в правый верхний угол подрамника, а его нижний конец плотно прижат к ладони левой руки. Это создает треугольник жесткости. Тело становится штативом.

Это происходит не постепенно. Никаких предупреждающих покалываний или мурашек, свойственных затекшей конечности. Просто секунду назад мои пальцы сжимали гладкое дерево, ощущая каждую зазубринку, а в следующую — они превратились в кусок мрамора. Боль была острой, режущей, похожей на ту, когда отсидишь ногу, только умноженную на десять. Локтевой сустав словно заколотили дюймовым гвоздем прямо в кость.

Пальцы разжались вопреки моей воле. Деревянный шест длиной в три фута накренился. Попытка поймать его правой рукой запоздала. Муштабель упал плашмя. Звук удара получился сухим, деревянным, постыдно громким в мертвой тишине мансарды. Он эхом отразился от голых кирпичных стен.

Я смотрю на свою руку со смесью ужаса и научного любопытства врача-патологоанатома. Пальцы побелели до синевы, ногти приобрели восковой оттенок. Суставы зафиксировались в том положении, в котором держали палку. Я пытаюсь согнуть указательный палец. Мышцы предплечья напрягаются так, что кажется, сейчас лопнет кожа, но фаланга даже не вздрагивает. Рука перестала быть частью меня. Она стала куском инертной материи, подвешенным к моему плечу по какой-то жестокой ошибке гравитации.

— *Merde*, — выдыхаю я, и пар изо рта клубится в холодном воздухе студии. Отопление стоит денег, которых нет. — Только не сейчас. Не паралич...

Паника начинает подниматься от желудка к горлу горькой волной. Люсьен говорил, что это истерическая контрактура. Психосоматика. Реакция мозга на голод и переутомление. Если он увидит меня такой, меня отправят в Сальпетриер к доктору Шарко, привязанную к койке, под удары электрического тока.

Нужно сесть. Нужно растереть руку шерстяной тканью, восстановить кровоток. Я делаю шаг назад от мольберта, перенося вес на правую ногу. Левое плечо тянет вниз невидимой гирей. Баланс нарушен. Я задеваю бедром табурет, на котором стоят открытые банки с пигментами. Табурет качается, издавая тихий скрип.

И тут вступает вторая сила. Та самая, что пахнет порохом и медью.

Граф недоволен паузой. Ему не нужны мои биологические проблемы. Ему нужен цвет. Пока моя нервная система кричит от боли в замерзающем плече, древняя воля скользит по моим синапсам, обходя поврежденные участки, как вода обтекает камень в реке. Это вторжение не похоже на удар молнии. Оно мягкое, маслянистое, проникающее. Ощущение такое, будто кто-то чужой надел мою кожу поверх моей собственной, пока я отвлеклась на боль.

Мои глаза фокусируются на палитре. Она лежит на столике слева. Хаос красок, мой личный Вавилон. Белила свинцовые (дешевые, крупинками), белила цинковые (хорошие, густые), охра светлая, сиена жженая, ультрамарин... И она. Банка из толстого аптечного стекла с притертой стеклянной пробкой. Крапlak красный глубокий. Мой новый пигмент. Моя проклятая драгоценность.

Мне нужна белая основа. Чтобы прописать блики на лицах торговцев, чтобы приглушить эту невыносимую кровавую резкость там, где должен быть просто утренний туман над рекой. Логика художника требует свинца. Свинцовые белила кроют лучше всего, они создают плотную, матовую фактуру.

Правая рука движется сама. Я отдаю себе приказ: «Возьми белила». Нейронный импульс проходит путь от коры головного мозга до мышц предплечья. Я отчетливо чувствую намерение взять квадратную банку из синего стекла, стоящую во втором ряду. Но в момент, когда пальцы должны сомкнуться на прохладном стекле, происходит перехват управления.

Моя кисть изгибается под неестественным углом. Большой палец ложится на круглую шляпку стеклянной пробки крапlака. Раздается мягкий хлопок выходящего воздуха. Пробка вынута.

Содержимое банки — вязкая, почти черная в тени жидкость цвета бычьей крови — наклоняется вместе с моей рукой. Время растягивается, превращаясь в густой сироп. Я вижу, как мир замедляется. Я хочу крикнуть, дернуться, остановить собственное тело, но граф держит вожжи крепко. Мои суставы двигаются плавно, изящно, с кошачьей грацией профессионального отравителя.

Кисть совершает широкий, щедрый полукруг.

Густая волна пигмента выплескивается из стеклянного сосуда. Она летит медленно, красиво, распадаясь в воздухе на сотни мелких капель, прежде чем обрушиться на меня. Первый удар приходится точно в центр груди. Краска попадает на грубый хлопок материнского халата.

Звук падения краски на ткань невозможно спутать ни с чем. Это не шлепок воды. Это тяжелый, жирный, всасывающий звук. *Ш-ш-люп*. Краплек мгновенно пропитывает переплетения нитей. Там, где упала капля, ткань темнеет, становясь влажной на вид. Затем пятно начинает расплзаться. Оно не растекается кругом, как обычная акварель. Оно ветвится. Тонкие красные ручейки бегут по ткани вверх, цепляясь за волокна, напоминая корневую систему хищного растения.

Алый цвет достигает моих колен через секунду. Холодное стекло банки все еще в моей руке, но я ее уже не контролирую. Пальцы сами ставят сосуд на край верстака с хирургической точностью — ни одна лишняя капля не падает на пол. Идеальный контроль. Контроль убийцы.

Я опускаю взгляд. Подол моего халата теперь представляет собой карту артериальной системы. Красные потоки огибают пуговицы, сливаются в лужи на коленях. Запах... О, этот запах перебивает даже вонь скипидара. Это не запах краски. Это запах раскаленного железа, старых монет и того странного мускусного аромата, который исходил от рубина в лавке Леблана.

— Нет... — шепчу я сухими губами. — Что ты творишь...

В ответ на мое горло давит невидимая рука. Голосовые связки схлопываются. Вместо протеста из горла вырывается низкое, вибрирующее рычание. Животное. Доволенное.

Левая рука — та самая, что была парализована минуту назад, — вдруг оживает. Но она не расслабляется. Напротив, судорога усиливается. Пальцы сгибаются с такой силой, что ногти впиваются в ладонь, прорезая кожу. Из-под ногтей выступают капли настоящей, человеческой, красной крови. Она смешивается с серой пылью на полу.

Граф использует боль. Паралич был лишь отвлечением, шоковой терапией, чтобы отключить мое сопротивление. Теперь мосты сожжены. Нервная система перегружена сигналами, и сквозь эти помехи он транслирует свои команды напрямую в моторные нейроны.

Взгляд сам собой возвращается к мольберту. Этюд рынка Ле-Аль смотрит на меня. Груда овощей на переднем плане выглядит жалко и тускло рядом с той мощью, что только что вырвалась из банки.

Моя правая рука вновь поднимается. На этот раз она берет не кисть. Она берет мастихин — плоскую стальную лопаточку с деревянной ручкой. Затупленное лезвие ловит тусклый свет газового рожка.

Я открываю рот, пытаюсь позвать на помощь, но голос окончательно сел. Вместо слов получается только шипение. Кто может мне помочь? Люсьен считает меня сумасшедшей. Венсан Арно далеко. Мир за пределами этой комнаты живет своей жизнью, не подозревая, что в маленькой мансарде на улице Норвен идет процесс пересотворения реальности.

Стальное лезвие погружается в багровую лужу на моем платье. Я зачерпываю крапалак прямо с собственных колен. Металл легко входит в густую массу. Я поднимаю мастихин. По стали медленно сползает тяжелая капля идеальной формы. Она дрожит, живая. Внутри нее преломляется свет, создавая иллюзию глубины — казалось, если заглянуть внутрь, можно увидеть бесконечный колодец, уходящий к центру Земли.

Тибо доволен. Я чувствую его одобрение как физическое тепло, разливающееся по позвоночнику. Страх никуда не делся — он забился в дальний угол моего сознания, скулит оттуда побитой собакой. Но руководит телом сейчас не страх. Руководит экстаз. Чистейший эгоизм творца, дорвавшегося до идеального инструмента.

Мастихин приближается к холсту. Я пишу левой рукой — той самой, сведенной судорогой.левой рукой брать кисть неудобно, почти невозможно для тонкой работы, но граф исправляет это. Он меняет мою биомеханику. Позвоночник чуть изгибается, плечи разворачиваются под неестественным углом, принимая нагрузку. Мое тело превращается в идеальный механизм для нанесения ударов краской.

Первое касание. Сталь касается загрунтованного льна.

Я не провожу линию. Я вонзаю пигмент. Каждый мазок — это рана. Я кладу крапалак туда, где должна быть тень под телегой. Обычная тень делается умброй или сажей. Но граф смеется над земными цветами. Тень под телегой вспыхивает изнутри темно-вишневым светом. Она перестает быть отсутствием света. Она становится присутствием чего-то иного. Кровь притягивает взгляд сильнее, чем любой источник освещения. Глаз зрителя будет прикован к этому пятну, потому что человеческий мозг запрограммирован реагировать на красный цвет как на сигнал опасности, как на открытую вену.

Я работаю быстро. Лихорадочно. Халат промок насквозь, холодный воздух студии заставляет краску стечь прямо на ткани, стягивая кожу неприятным зудом. Я пишу лица торговцев. Те самые лица, которые вчера были обычными парижскими буржуа с красными носами от холода.

Под воздействием крапалака их кожа теряет человеческую текстуру. Она становится пергаментной, полупрозрачной. Сквозь щеки проступают синие жилы. Губы натягиваются, обнажая десны. Глаза... я кладу микроскопические точки крапалака на белки их глаз. Торговцы перестают смотреть на овощи. Они начинают смотреть на меня. Сотня пар глаз, полных древней, нечеловеческой ярости.

Рынок Ле-Аль превратился в алтарь. Морковь внизу действительно напоминает отрубленные кисти рук, но теперь это не метафора реализма. Это инвентарь мясника. Каждая мор-

ковка выписана с любовью патологоанатома, каждый капилляр на срезе заполнен жидким огнем.

Пол под ногами становится липким. Я наступила в пролитую краску босой пяткой. При каждом шаге раздается чавкающий звук. Я приклеиваюсь к собственным следам. Студия сужается, стены давят, потолок опускается ниже. Воздух выгорает, заменяясь тяжелыми испарениями анилина и масла. Мне нечем дышать. Легкие горят, требуя кислорода, но диафрагма спазмируется, подчиняясь ритму мазков.

Холст заполняется. Местами слой краски настолько толстый, что образует рельеф — барельефы из плоти. Я использую технику импасто, выдавливая жизнь из тюбиков и банок прямо на полотно.

Внезапно движение справа. Резкое, выбивающееся из транса.

Дверь в студию, которую я небрежно прикрыла, но не заперла на засов, открывается. На пороге стоит Люсьен. Его лицо, обычно бледное и одутловатое от сидения над учебниками по медицине, покрыто красными пятнами гнева и мороза. В руках у него бумажный сверток — вероятно, сухой бульон или черствый хлеб, который он принес сестре-бездельнице.

Он открывает рот, чтобы выдать очередную тираду о моей неряшливости, о том, что я опять не заплатила за воду, о том, что от меня пахнет так, будто я тушила пожар дешевым вином. Но слова застревают у него в горле.

Мой брат — студент-медик. Он привык видеть кровь. Он препарировал лягушек, кошек и трупы в анатомическом театре. Но зрелище, представшее его глазам, выходит за рамки медицинской нормы.

Его сестра стоит посреди комнаты, залитая кровью с головы до ног. Ее волосы слиплись колтуном. Лицо перемазано красным, оставляя чистые дорожки от слез на щеках. Она стоит в странной, балетной позе, балансируя на одной ноге, вытянув вперед руку со стальным лезвием, с которого продолжает капать густая масса. За ее спиной — холст, выглядящий как поле битвы после резни. Картина буквально излучает жар. В холодной мансарде вокруг полотна заметно марево, искажающее воздух, как над костром.

Люсьен делает вдох, собираясь закричать. Набрать полную грудь воздуха, чтобы звать на помощь соседей или полицию. Возможно, он думает, что я кого-то убила и расчленила прямо здесь, среди своих эскизов.

Но я поворачиваю голову. Медленно. Механически. Шея издает тихий хруст.

Мои глаза встречаются с его глазами. Зрачки расширены так сильно, что радужка превратилась в тонкий золотой ободок. В глубине этих черных озер вращаются два красных уголька. Рубин видит брата моими глазами. Граф де Флэри оценивает нового посетителя. Проверяет качество материала.

Я улыбаюсь. Уголки губ растягиваются до предела, кожа на лице натягивается, грозя лопнуть. Это улыбка черепа. Улыбка самого графа.

— Ты поздно, братец, — говорю я голосом, который сочится медом и цианидом. Тембр понижен, наполнен хрипотцой курильщика и аристократической ленцой. — Мы как раз заканчиваем сеанс. Присоединишься?

Люсьен бледнеет так стремительно, что мне кажется — сейчас он рухнет в обморок, как кисейная барышня. Его научный ум отказывается принимать происходящее. Он ищет логику: массовое отравление? Коллективная галлюцинация? Опьянение парами скипидара? Но логика пасует перед лицом женщины, которая плавает в собственном пунше и при этом сохраняет идеально прямую осанку.

— Клеманс... — сипит он. Пакет в его руках шуршит, бумага сминается. — Что... что это на тебе?

Он делает шаг вперед. Рефлекс врача. Видя окровавленного человека, он должен оказать помощь. Проверить пульс. Наложить жгут.

Это ошибка. Вторжение в мастерскую во время акта творения недопустимо.

Моя правая рука, держащая мастихин, резко меняет траекторию. Движение слишком быстрое для человека, покрытого слоем застывающей смолы. Стальное лезвие рассекает воздух в дюйме от лица Люсьена. Брат отшатывается, спотыкается о порог и падает навзничь в коридор, приземляясь на копчик с глухим ударом.

— Место! — рычу я. Слово выходит гортанным, животным лаем. — Не мешай пигменту схватываться!

Я поворачиваюсь обратно к холсту. Входная дверь захлопывается сквозняком. Люсьен скулит где-то в темноте прихожей, ощупывая поясницу. Он напуган до полусмерти, но он уйдет. Он всегда уходит, потому что боится непонятного больше, чем физического насилия.

Я возвращаюсь к работе. Ритм возобновляется. Взмах. Удар. Вплавить крапак в лен. Вплавить волю графа в реальность.

Проходит час. Или минута. Чувство времени утрачено полностью. Единственное, что существует — это трение стали о холст и пульсация красного цвета.

Наконец, наступает истощение. Не мое — физиологическое истощение тела заканчивается гораздо раньше. Наступает истощение пигмента. Банка на моем платье пуста. Лужа на полу подсохла по краям, превратившись в хрупкую черную корку.

Мастихин выпадает из ослабевших пальцев. Стальное звяканье звучит погребальным колоколом.

Правая рука повисает плетью. Суставы пальцев стерты в кровь о металл рукоятки. Спина горит адским пламенем — мышечный каркас не приспособлен для многочасового стояния в перекошенной позе авгура.

Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на результат.

Картина завершена.

Она огромна. Она подавляет своими размерами. Стоя перед ней, я чувствую себя муравьем у подножия вулкана. Цвет перестал быть просто краской. Краплак зажил своей жизнью. Он дышит. Если долго смотреть на живот беременной крестьянки в углу картины, видно, как медленно, в такт моему собственному сердцебиению, пульсирует алое пятно на ее переднике.

Это шедевр. Самый страшный и прекрасный шедевр, когда-либо созданный в этом городе мертвецов.

Я опускаю глаза на себя. Я похожа на жертву кораблекрушения, выброшенную на берег после бойни. Халат превратился в жесткий панцирь. Попытка согнуть ногу в колене причиняет острую боль — присохшая к коже ткань сопротивляется движению. Волосы склеились в единый красно-коричневый шлем.

Во рту пустыня Сахара. Язык распух и едва помещается между зубами. Меня тошнит от голода и химического отравления. Свинец и ртуть, входящие в состав других красок, которыми я делала подмалевок, наверняка уже начали разрушать мои почки. Добавьте сюда дозу чистого анилинового краплака, впитавшегося через поры кожи прямо в кровь. Я удивлена, что мое сердце все еще бьется. Скорее всего, оно бьется только потому, что графу нужен проводник.

Я делаю шаг к ведру с грязной водой для мытья кистей. Вода покрыта радужной пленкой масел. Она давно остыла.

Зачерпываю жестяную кружку. Руки дрожат так сильно, что половина воды выплескивается на пол еще по пути ко рту. Остаток обжигает глотку. Это самая вкусная вода в моей жизни. Вкус ржавчины и старой меди придает ей изысканность дорогого вина.

За спиной раздается шорох. Я резко оборачиваюсь, готовая снова броситься с мастихином. Инстинкты выживания работают быстрее уставшего разума.

В дверях внутреннего двора, ведущего на лестницу, стоит фигура. Это не Люсьен. Этот человек одет в приличное пальто строгого кроя. Воротник поднят, котелок надвинут на брови. В руке он держит не хлеб и не медицинский саквояж. В руке он держит полицейский блокнот в кожаном переплете и карандаш.

Инспектор Марсель Бриссе. Человек, ищущий фальшивомонетчиков. Должно быть, соседи все-таки вызвали жандармов из-за криков моего брата. Или инспектор просто шел по следу редкого пигмента — такие объемы качественного краплака, используемого с таким безумным размахом, неизбежно привлекают внимание Управления Искусств и Налоговой службы.

Бриссе останавливается на верхней ступени лестницы. Он смотрит на меня. Потом на картину. Затем снова на меня.

На его профессионально невозмутимом лице инспектора Сюрте впервые за долгие годы проступает выражение суеверного, первобытного ужаса. Он видел утопленников, пролежавших в воде неделю. Он видел жертв несчастных случаев на фабриках, чьи тела были перемолоты шестернями. Но он никогда не видел, чтобы человек сам, добровольно, собственными

руками создал портал в Преисподнюю. И стоял перед ним, улыбаясь окровавленным ртом, абсолютно счастливый в своем разрушении.

Инспектор медленно, очень медленно снимает котелок. Его губы беззвучно шевелятся. Он осеняет себя крестным знамением — быстрым, нервным движением правой руки, которое никак не вяжется с его рационалистическим образом.

— Боже милостивый, — произносит он одними губами. — Чем вы это писали, мадемуазель Готье? Святой кровью?

Вопрос абсурден. Вопрос идиотичен. Но в контексте этой мансарды, пропахшей химикатами и вечностью, он звучит как начало допроса святой инквизиции.

Я смотрю на свои руки. Они по локоть в красном. Я смотрю на брошь на воротнике халата. Камень потускнел, став почти черным, словно выдохся после долгой скачки. Но глубоко внутри него, в самой сердцевине, разгорается новая искра. Она пульсирует ровно и спокойно.

Удовлетворенно.

Я перевожу взгляд на инспектора Бриссе. Утираю тыльной стороной ладони пот со лба, оставляя на коже широкую полосу, похожую на боевую раскраску дикаря.

— Я писала это будущим, инспектор, — отвечаю я, и мой голос звучит на удивление чисто и звонко в гулкой тишине мастерской. — Очень, очень мрачным будущим. Вы хотите купить билет в первый ряд?

Глава 3. Метамерия

Париж имеет свой собственный пульс, и этот пульс бьется в ритме скрежета металла о металл. Зима вступала в свои права с грацией пьяного грузчика: небо над крышей моей мансарды на улице Норвен приобрело цвет застиранной портянки — грязно-серый с прозеленью гниения. Холод был не просто погодным явлением; он стал физическим существом, которое жило со мной под одной крышей. Оно спало в углах, дышало мне в затылок ледяным паром и питалось остатками моего тепла.

Но холод снаружи был ничем по сравнению с тем жаром, что разгорался внутри студии.

После визита инспектора Бриссе прошло три дня. Три дня абсолютной тишины из внешнего мира. Люсьен больше не поднимался по шаткой лестнице — я слышала его шаги внизу, в лавке аптекаря, но мой брат теперь обходил наш этаж стороной, словно лестничный пролет вел прямо в жерло вулкана. Его научный ум сдался перед лицом иррационального ужаса. Он решил, что я больна чумой мозга, и самоизолировался ради собственного спасения. Это было даже удобно: никто не трогал мои запасы воды и не задавал вопросов о запахе серы.

Инспектор тоже исчез. Я думаю, рапорт, который он написал вечером того дня, либо вызвал смех у начальства, либо обеспечил ему внеочередной отпуск для лечения нервов. Как можно объяснить префекту Сюрте, что картина едва не выпрыгнула с мольберта ему навстречу? Что пигменты на ней меняли оттенок в зависимости от того, куда падал взгляд человека?

Я осталась одна. Наедине с графом. И с химией.

Мой верстак превратился в лабораторию алхимика-недоучки. Банки с промышленными растворителями соседствовали с медными ступками, а вместо холстов пространство занимали листы плотной фильтровальной бумаги, покрытые высохшими образцами. Я пыталась понять *это*. Понять Тибо. Если магия существует, она должна подчиняться законам сохранения энергии. Ничто не берется из ниоткуда. Кровь графа де Флёрри была заперта в камне столетиями. Теперь она текла наружу. Мне нужно было знать уравнение этой реакции.

Сегодняшний день был посвящен войне с кадмием.

Кадмий красный — это король палитры второй половины девятнадцатого века. Яркий, непрозрачный, дерзкий цвет химической чистоты. В отличие от ядовитой киноvari (сульфида ртути) или нестабильного кармина (высушенных насекомых), кадмий обещал вечность. Он должен был гореть на холсте десятилетиями, не тускнея под воздействием света и влаги.

Мне нужен был свет. Настоящий, жесткий свет, чтобы прописать блики на лицах торговцев рынка — тех самых лиц, которые после последней сессии превратились в черепа, обтянутые тонкой пленкой кожи. Газовый рожок шипел и плевался мелкими каплями конденсата. Я накрутила фитиль до упора. Стекланный колпак раскалился докрасна, заливая мою рабочую зону мертвенно-белым, хирургическим сиянием.

Это началось незаметно. Сначала изменился запах. Чистый пигмент пахнет землей и металлом — специфический аромат свежескопанного сада после дождя. Но сейчас к этому

запаху примешалась нота тухлого яйца. Сернистый дух. Так пахнет разложение органики, так пахнут старые болота Гатине.

Я замешивала краску мастихином. Обычная пропорция: две части пигмента, одна часть отбеленного льняного масла, пара капель сиккатива на основе кобальта, чтобы ускорить высыхание. Масло ложилось на стекло палитры густым, глянцевым озером. Я всыпала кадмий.

Ложечка сухого порошка упала в вязкую жидкость. Вместо того чтобы плавно увлажниться и стать однородной пастой, порошок издал тихий, почти неслышимый звук. Писк. Словно миллионы микроскопических существ разом открыли рты в предсмертном крике.

Я остановилась, держа мастихин на весу. Мышцы руки заныли от статического напряжения.

Цвет начал меняться мгновенно. Сначала ушла солнечная яркость. Глубокий оранжево-красный потускнел, став похожим на запекшуюся кровь недельной давности. Затем поверхность краски пошла рябью. Не той рябью, которую создает вибрация стола от проезжающей внизу телеги. Это была внутренняя дрожь.

Масло начало отделяться от пигмента. Оно собиралось по краям лужицы прозрачными жирными слезами, пытаясь сбежать. Сам же кадмий... он оседал. Но он не тонул. Частицы сцеплялись друг с другом, формируя причудливые, фрактальные узоры. Они напоминали морозные рисунки на зимнем стекле или колонии лишайника на старом дереве.

— Non, — прошептала я. — Нет. Только не сейчас.

Я попыталась вмешаться. Резко провела чистым краем мастихина через центр распадающейся массы, пытаясь разбить структуру, вернуть ей однородность. Сталь встретила сопротивление. Краска стала твердой. За те десять секунд, пока я смотрела на нее, зачарованная этим распадом, пигмент потерял эластичность влажной замазки и приобрел хрупкость сухой земли в сезон засухи. Мастихин прошел сквозь него, как плуг, оставляя рваный шрам, который тут же осыпался сухим коричневым порошком.

Весь объем краски — полная столовая ложка дорогого материала — превратился в комок ржавых хлопьев, плавающих в луже желтоватого, прогорклого масла. Химическая связь между сульфидом кадмия и связующим звеном лопнула. Краситель совершил сепuku прямо на моем столе.

Газовый рожок гудел, сжигая городской газ и выбрасывая волны жара. Именно этот тепловой поток убивал краску. Граф ненавидел искусственный свет. Или, точнее, граф ненавидел тепло, которое разрушает кристаллическую решетку. Краплак, наполненный его волей, требовал холода могилы. Тепло газового пламени заставляло чужеродную энергию защищаться, уничтожая любую другую материю вокруг себя.

Я почувствовала приступ тошноты — внезапный, выворачивающий наизнанку спазм диафрагмы. Это была не моя тошнота. Это была реакция камня. Брошь на моем воротнике, приколотая изнутри к коже булавкой, обожгла грудь ледяным огнем.

Тибо смотрел моими глазами на мертвый кадмий. В ментальном пространстве нашей связи пронесся импульс чистого презрения. Для аристократа восемнадцатого века «химия»

была низменным ремеслом черни, недостойным внимания истинного носителя крови. То, что нельзя получить путем дистилляции философской ртути, не заслуживает существования.

Звякнул дверной колокольчик вниз. Звук был резким, металлическим, лишенным музыкального перезвона. Кто-то вошел в подъезд с силой, выдававшей человека, привыкшего открывать любые двери без приглашения. Шаги по лестнице были тяжелыми, уверенными, но странно шаркающими, будто подошвы ботинок прилипали к старым ступеням.

В дверь моей мансарды постучали. Не деликатное царапанье соседей, просящих соли. Это был четкий, властный стук костяшками пальцев. Три удара. Пауза. Два удара.

Я замерла с кистью в руке. Капля краплака, висевшая на ворсинках, медленно поползла вниз, прочертив идеальную вертикальную линию на краю этюда.

— Мадемуазель Готье, — голос прозвучал приглушенно, но отчетливо. — Откройте. Я знаю, что вы дома. Ваш почтенный брат посоветовал мне обратиться именно к вам, когда речь зашла о редчайших минеральных соединениях.

Рука сама собой потянулась к рукояти мастихина, лежащего на верстаке. Сталь была холодной и успокаивающей. Но затем пальцы расслабились. Страх уступил место острому, болезненному любопытству. Никто не приходит ко мне покупать минералы. У меня нет денег на них. Значит, этот человек ищет то же, что и я. Связующее звено.

Я откинула щеколду. Дверь со скрипом, от которого свело зубы, отворилась.

На пороге стоял мужчина лет сорока пяти. Высокий, болезненно худой, с сутулостью ученого, проводящего жизнь над столом. Его сюртук из хорошего английского сукна был безнадежно испачкан белым налетом — мукой какого-то химического соединения. Галстук отсутствовал, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, обнажая кадык, дергающийся в такт дыханию. Лицо украшали огромные круглые очки в тонкой металлической оправе. Стекла были настолько толстыми, что глаза за ними казались крошечными, как у насекомого.

Он снял шляпу-котелок, обнажив обширную лысину, окруженную венчиком рыжеватых волос, влажных от уличной сырости.

— Венсан Арно, — представился он, делая легкий поклон, который выглядел нелепо в полумраке моей лестницы. — Химик-аналитик. Департамент префекта полиции. Хотя, видит Бог, нынешняя администрация предпочитает тратить мое время на анализ мочи подозреваемых в пьянстве, а не на настоящую науку.

Он шагнул внутрь, бесцеремонно отодвинув меня плечом. Венсан Арно принес с собой запахи внешнего мира: йод, озон, мокрую шерсть и тот специфический душок формалина, который навсегда въедается в одежду врачей и ученых мужей.

— Ваш брат сказал, вы сошли с ума и рисуете кровью, — продолжил гость, водружая котелок на стопку моих чистых гравюр. — Люсьен всегда был склонен к драматизму. Я посмотрел вашу работу на рынке Ле-Аль неделю назад. До инцидента. Там был великолепный вермилion в тенях корзин. Старинный, доброкачественный сульфид ртути. Где вы его брали? У Жерве? Старый мошенник разбавляет его мелом.

Он говорил быстро, захлебываясь словами, перескакивая с темы на тему. Невротическая энергия били ключом, контрастируя с его изможденным видом. Этот человек жил на кофеине и чистом адреналине научного поиска.

Я молча указала на мольберт. Картина стояла лицом к стене, укрытая куском мешковины. Арно проследил за моим жестом. Его тонкие брови сошлись на переносице.

— Покажите, — приказал он. Это не была просьба коллеги. Это был приказ куратора музея.

Я сдернула ткань.

Гость замолчал. Впервые с момента нашего знакомства бесконечный поток слов иссяк. Наступила абсолютная, звонкая тишина, нарушаемая только шипением газового рожка.

Венсан подошел ближе. Близорукие глаза за толстой оптикой впились в полотно. Он двигался осторожно, по дуге, словно боясь, что картина может броситься на него.

— Матерь Божья... — выдохнул он наконец. — Это невозможно.

Он достал из внутреннего кармана сюртука складную лупу ювелира. Медный корпус инструмента был затерт до блеска. Прищурившись, он буквально уткнулся носом в холст.

— Крапlak, — констатировал он спустя минуту осмотра. — Но какой крапlak... Господин Блоккс удивится за такую чистоту тона. Вы используете синтетику? Анилиновую? Она слишком зернистая, здесь зерно отсутствует вовсе. Это вытяжка? Прямая эссенция корня?

Его рука в перчатке потянулась к поверхности картины, чтобы коснуться мазка кончиком пальца.

— Не смейте! — Мой голос прорезал воздух хлыстом. Я сделала шаг вперед, преграждая путь. Сердце заколотилось где-то в горле. Одно касание постороннего, одно неверное движение, и краска могла отреагировать. Я чувствовала это всей кожей. Холст был заряжен, как лейденская банка.

Арно вздрогнул, опуская руку. Очки блеснули, поймав отражение газового пламени. Он перевел взгляд с картины на мое лицо. Впервые с начала разговора его быстрый, скачущий ум замедлился. Он увидел мои глаза. И перемазанное краской платье, которое я так и не успела отчистить.

— Вы бледны, мадемуазель, — заметил он уже другим тоном, профессиональным и цепким. — И ваша манера речи изменилась. Вчера ваш брат описывал вас как типичную богемную истеричку. Сегодня вы отдаёте команды голосом сержанта линейной пехоты. Лихорадка?

Он шагнул мимо меня обратно к верстаку. Его внимание переключилось. Полотно пугало его, оно выходило за рамки его понимания ботаники и химии, но рабочий стол художника — это понятная территория. Хаос банок, тюбиков и грязных инструментов.

— Позвольте? — спросил он, хотя его руки уже тянулись к стеклянной банке, где покоились останки моего несчастного кадмия.

Он аккуратно поддел щепотку ржавых хлопьев кончиком серебряного пинцета, который извлек из нагрудного кармана. Поднес к лампе.

— Хлопья Будена, — пробормотал он. — Классическое разрушение сульфида кадмия при термическом стрессе. Но скорость... Скорость аномальная. Обычно этот процесс занимает недели неправильного хранения. Здесь всё произошло за минуты.

Он бросил хлопья обратно. Пинцет зазвенел о стекло. Венсан повернулся к столу с тюбиками. Его длинные, узловатые пальцы, похожие на паучьи лапки, начали перебирать мою палитру. Он отбрасывал тюбики в сторону с пренебрежением эксперта: «Сажа. Охра. Бюджетный ультрамарин...»

Наконец, он нашел пустую гильзу. Тонкий свинцовый цилиндрок, помятый с одного конца. Этикетка гласила: «Cadmium Rouge Vif. LeFranc & Bourgeois».

— Вы выжгли его досуха, — Арно поднял тюбик на уровень глаз. — Давление внутри. Масло окислилось до состояния смолы. Вы пытались писать им горячим? Нагревали палитру открытым огнем?

— Над газом, — прохрипела я. Горло пересохло. — Лампа была выкручена на максимум.

Химик положил пустой тюбик на верстак и принялся методично протирать стекла своих очков белоснежным полотняным платком. Это действие казалось единственным нормальным событием во вселенной. Круговые движения ткани по стеклу. Скрип волокон.

Когда очки вернулись на его переносицу, маленькие глаза за ними смотрели жестко и оценивающе.

— Мадемуазель Готье, — произнес он сухо. — Я двадцать лет преподаю неорганическую химию в Политехнической школе. Я могу синтезировать взрывчатку из удобрений и определить возраст мумии по составу ее кишечных газов. Законы материального мира нерушимы. Свинец падает вниз. Вода превращается в пар при ста градусах Цельсия. Сульфид кадмия стабилен до температуры четырехста градусов. Ваши художественные капризы...

Он сделал паузу, тяжело вздохнув. Воздух со свистом вышел из его астматической груди.

— ...не являются термодинамическим фактором. Вы пытаетесь убедить меня, что краска умерла, потому что картине стало «грустно». Это чушь. Либо партия пигмента была бракованной изначально — мышьяк в качестве примеси дает такой эффект почернения, — либо вы сами добавили туда катализатор. Что вы туда плеснули? Кислоту? Собственную слюну? Слезы девственницы?

Он пытался пришить бабочку рациональности иглой науки. Венсан Арно отчаянно нуждался в формуле. Ему нужен был рецепт, который можно записать в блокнот формулой $\$CdS + X \rightarrow Y\$$. Если формулы нет, значит, мир сошел с ума, а разум химика такого допустить не может — иначе остается только застрелиться от когнитивного диссонанса.

Я посмотрела на свою правую руку. Костяшки пальцев были стертые в кровь. Под ногтями темнели каймы краплака, которые не брала никакая вода.

— Я ничего не добавляла, — сказала я тихо. — Кроме вот этого.

Я вернулась к мольберту. Моя походка была легкой, почти танцующей — тело все еще помнило ритм работы графа. Я опустила руку за пазуху, нащупывая холодный металл броши. Булавка больно впилась в кожу, когда я извлекла украшение на свет.

Венсан перестал протирать очки. Его руки замерли. Платок повис в воздухе.

— Это... ювелирное изделие? Рубин? У вас завелись деньги, Готье? Решили перейти на натуральные минералы вместо фабричных красителей? Натуральный минерал даст мутный тон, девочка моя, вы бы знали это, если бы слушали лекции Сорбонны, а не бегали по набережным.

Я шагнула к нему. Сокращение дистанции изменило атмосферу. Инспектор Бриссе чувствовал животный ужас. Люсьен — родственное отвращение. Венсан Арно почувствовал научную угрозу. Он попятился, наткнувшись спиной на табурет. Его поза изменилась: ноги чуть согнулись в коленях, готовясь бежать или обороняться. Перед ним был сумасшедший с острым предметом.

— Коснитесь, — предложила я, протягивая камень на открытой ладони. — Просто коснитесь грани. Как ученый. Проверьте теплопроводность.

— Исключено, — отрезал он, выставляя вперед ладонь защитным жестом. — Ваша психика нестабильна. Вы можете быть носителем инфекции. Сибирская язва отлично консервируется в шерсти и бархате старых вещей. Я не собираюсь проверять ваши оккультные игрушки пальцами.

— Трусливая душа, — усмехнулась я. Вкус слова на языке был незнакомым. Граф развлекался, играя интонациями. — Хорошо. Смотрите.

Я поднесла брошь к ближайшей банке. Там стояло масло — дешевое, сырое, купленное на складе у порта. Льняное масло высшего сорта должно быть золотистым и прозрачным. Мое давно пожелтело и загустело.

Я коснулась стеклянной стенки банки гранью рубина. Раздался тонкий, пронзительный звук, похожий на пение тибетских чаш. Стекло завибрировало.

Венсан моргнул. Его толстые линзы уловили искажение пространства. Воздух вокруг камня пошел маревом, как над асфальтом в июльский полдень.

Мое свободное левое плечо внезапно дернулось назад и в сторону. Рефлекс уклонения. Рука метнулась к банке. Я хотела убрать камень, прекратить эксперимент. Но граф перехватил управление.

Пальцы сомкнулись на стекле. Одним движением кисти я опрокинула банку. Густое желтое масло хлынуло на деревянный верстак, растекаясь липкой лужей.

— Дьявол! — вскрикнул Арно, подпрыгивая, чтобы спасти свои ботинки от загрязнения.

А затем началось превращение.

Масло соприкоснулось с воздухом, насыщенным эманациями камня. Мы наблюдали за процессом, который длился секунды, но вместил в себя целую вечность химических реакций.

Желтый цвет вытекающей жидкости начал стремительно темнеть. Золото сменилось цветом гречишного меда. Затем — старой бронзы. И, наконец, достигнув края лужи, где витал невидимый аромат рубина, масло стало абсолютно черным. Черным, как вакуум космоса. Оно потеряло отражающие свойства. Лужа на верстаке поглощала свет газового рожка, становясь дырой в досках.

— Закон сохранения массы... — прошептал Арно. Его голос сел до сиплого шепота. Он снова снял очки. Теперь он их не протирал. Он слепо шурился, глядя на черную кляксу. — Откуда взялся углерод? Для такой степени денатурации белка нужна температура крематория...

— Это не углерод, Венсан, — сказала я, пряча брошь обратно. Камень пульсировал ровным, довольным теплом. — Это отсутствие. Граф называет это «Великой Работой наоборот». Вы ищете, из чего состоит вещество. А мы ищем способ заставить вещество осознать свое ничтожество и вернуться в первозданный хаос.

Химик рухнул на табурет. Тот опасно хрустнул под его весом, но устоял. Венсан Арно сидел, сгорбившись, обхватив голову руками. Его идеальный мир валентностей и атомных весов рушился. Человек, написавший диссертацию о кристаллизации солей, столкнулся с чем-то, что игнорировало таблицу Менделеева.

Долгое время в студии слышалось только его тяжелое дыхание и шипение газа.

Затем он поднял голову. Взгляд маленьких глаз за стеклами был иным. Исчезла снисходительность профессора. Ушла паника жертвы. Остался чистый, незамутненный интерес хищника-исследователя.

— Первозданный хаос, — повторил он. — Хорошо. Допустим. Оставим в стороне мистику, она непродуктивна для дискуссии. Опишите физические параметры вашего... сосуда. Вес? Плотность? Изменяется ли масса объекта после воздействия на среду?

Вопрос застал меня врасплох. Я ожидала криков, обвинений в сатанизме или попытки вызвать санитаров. Но Арно переходил на новый уровень принятия. Если наука не работает, нужно расширить границы самой науки.

— Масса? — переспросила я. — Я не взвешивала его.

— Напрасно! — всплеснул руками химик, моментально оживая. Энергия возвращалась к нему вместе с обретенной целью. — Любое взаимодействие оставляет след в массе! Экзорцизм масс! Е равно эм цэ квадрат, черт возьми, это должно работать даже для демонов! Несите аптекарские весы!

Он вскочил и забежал по тесной студии, расшвыривая мои эскизы.

— Нам нужен контрольный образец. Эта черная лужа... Можно взять пробу? Она реагирует на растворители? Если добавить азотную кислоту, выделится ли газ? Господи, да ведь это Нобелевская премия, Готье! Демонстрация влияния когерентного биополя на неорганические структуры!

— Биополе? — Я позволила себе улыбнуться. Настоящую улыбку Клеманс, слабую и горькую. — Называйте его графом, Венсан. Ему не понравится быть «когерентным биополем». Он очень тщеславен.

Арно замер с мензуркой в руке. Обернулся. Посмотрел на картину. Потом на меня. Потом на мою брошь.

— Граф, значит, — медленно произнес он, поправляя съехавшие очки. — Де Флэри? Из Нормандии? Те самые фальшивомонетчики Короны?

Я кивнула. Скрывать правду от единственного союзника смысла не имело. Да и сил на ложь не осталось. Каждая минута бодрствования высасывала меня, как лимон, отдавая сок древнему паразиту.

— Тогда понятно, почему инспектор Бриссе вертелся рядом, — задумчиво протянул Венсан, доставая из саквояжа спиртовку и набор стеклянных трубок. — Департамент охраны монетного двора задействовал лучшие умы. Они думают, что используют новые методы литографии. Они ищут станок. Типографскую краску. А ловят призрака с кисточкой.

Он установил спиртовку прямо на моем загаженном верстаке, бесцеремонно сметя локтем остатки кадмия на пол.

— Садитесь, Готье. Вы еле стоите. Ваши веки красные — конъюнктивит от паров, плюс анемия. Когда вы последний раз ели горячую пищу?

— В прошлой жизни, — ответила я, опускаясь на пол, приваливаясь спиной к ножке мольберта. Ноги больше не держали.

Венсан щелкнул латунной зажигалкой. Маленький синий огонек вспыхнул под стеклянной колбой. Свет огня отразился в его очках, превратив глаза в два белых пятна.

— Ладно, — сказал он, закрепляя реторту. — Признавайтесь, где источник питания. Алтарь? Кровь животных? Вампиризм требует метаболизма, даже если метаболизм метафизический. Чтобы рисовать такие объемы активного вещества, нужна колоссальная энтропия. Вы пьете жизненную силу, девочка? Надеюсь, не из своего брата?

Я закрыла глаза. Комната качалась. Запах горящего спирта смешивался с запахом смерти и масляной краски.

— Он берет её из цвета, — прошептала я, проваливаясь в дремоту. — Красный — самый тяжелый. Самый плотный. Цвет войны и рождения. Он ест радугу, Венсан. Начинайте всегда с красного спектра...

Последнее, что я видела сквозь ресницы, прежде чем тьма милосердно забрала мое сознание, было лицо химика. Он больше не выглядел напуганным или растерянным. Он выглядел абсолютно счастливым. Губы растянуты в широкой, безумной улыбке ребенка, которому подали самую сложную игрушку в мире.

Сквозь шум в ушах я услышала его бормотание:

— Забавно. Абсолютно антинаучно. И совершенно восхитительно. Завтра же пойду в библиотеку искать записи гильдии алхимиков Лиона. Кажется, наша живопись только что получила новую теорию цвета. Очень голодную теорию.

За окном парижская ночь опускалась на город, равнодушная к тому, что в маленькой холодной комнате родилась новая форма безумия, облаченная в белый халат лаборанта.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.